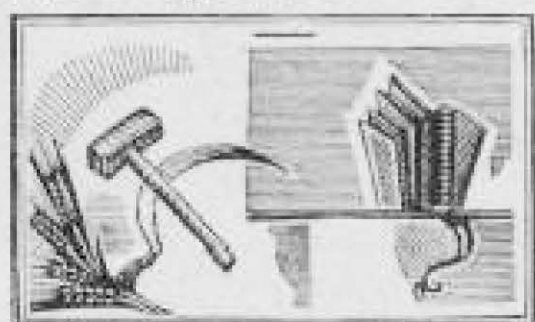


ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ

Ж У Р Н А Л

ЛИТЕРАТУРЫ ИСКУССТВА
КРИТИКИ И БИБЛИОГРАФИИ
ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ

А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА
М. Н. ПОКРОВСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО,
И. И. СКВОРЦОВА — СТЕПАНОВА.



КНИГА СЕДЬМАЯ
ОКТАБРЬ-НОЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928

ЧЕХОВ-ПУБЛИЦИСТ.

(По неизданным материалам)¹⁾.

А. Дерман.

I.

В критической и биографической литературе, посвященной Чехову, часто можно встретить противопоставление его большинству крупных наших художников в том отношении, что он был чистым художником, между тем как другие были и художники и публицисты. Высказывая эту мысль, обычно цитируют известное письмо А. П. к Плещееву от 4 октября 1888 г., в котором Чехов, излагая в полемическом духе свое *scredo*, заявляет: «Я хотел бы быть свободным художником и — только, и жалею, что бог не дал мне силы, чтобы быть им».

Такого рода противопоставление — в корне неверно. Это — заблуждение, объясняемое, главным образом, двумя причинами. Первая та, что громадная фигура Чехова-художника заслонила собою все другое в его творчестве. Вторая — что литературное наследие Чехова очень слабо разработано, очень неровно освещено. Когда исследование творчества Чехова достигнет степени, мало-мальски достойной его великого значения, ясно станет, что для указанного выше противопоставления нет ровно никаких оснований, что в смысле причастности к публицистике Чехов продолжает традицию большинства наших крупных художников.

Здесь же необходимо коснуться по отношению к ранней публицистике Чехова вопроса, который в свое время ставился и по поводу издания отвергнутых самим Чеховым его ранних художественных вещей: следует ли вообще это делать? Не оказываем ли мы плохой услуги памяти писателя, извлекая из забвения плоды его незрелой, торопливой работы?

¹⁾ Тема настоящей статьи — не «Чехов-публицист», но «Чехов-публицист по неизданным материалам»; это далеко не одно и то же, и это различие я настойчиво подчеркиваю как раз с тою целью, чтобы малое не смешать с большим. Я оставляю совершенно в стороне такое произведение Чехова, как «Остров Сахалин», — одну из сильнейших книг в русской публицистической литературе; оставляю ряд других его публицистических работ, в разное время в разных изданиях опубликованных, и буду говорить только о тех его публицистических работах первой половины 80-х годов, которые почти никогда и нигде не перепечатывались после первоначального их появления в журналах.

Мне кажется, что вопрос этот не должен разрешаться догматически и одинаково в отношении литературного наследия всех писателей вообще.

Творчество Чехова было творчеством смешанного характера. Он писал публицистику параллельно с тем, как писал и свои рассказы. Затем он сосредоточился на несколько лет исключительно на художественной работе. Но вот уже в 90-м году, завоевав славу первоклассного художника, он резко поворачивает на время руль своего творчества, с необычайной энергией отдается кропотливому изучению Сахалина, предпринимает утомительное путешествие на отверженный остров и по возвращении оттуда создает книгу, в которой кисть художника явно подчинена требованиям публициста, книгу, литературный род которой является классическим образцом художественной публицистики.

О чем свидетельствует этот факт? О сильной и притом упорной публицистической струе в творчестве Чехова. Нет ничего ошибочнее, чем представлять Чехова «чистым художником» в том условном значении этого понятия, какое предполагает при этом художника, чуждого общественным интересам. Нужно сказать, что из множества недоразумений, наслоившихся на литературном имени Чехова, это — одно из самых поразительных и непонятных. Я решаюсь сказать, что, если бы Чехов даже и не написал своего Сахалина и длинного ряда публицистических статей, если б перед нами были исключительно одни лишь его рассказы, очерки и пьесы, этого было бы совершенно достаточно, чтобы признать в его лице подлинного писателя-общественника, с необычайной, порой чрезмерной чуткостью откликавшегося на мало-мальски значительную злобу дня. Я не имею здесь возможности хотя бы беглым обзором его художественного творчества обосновать эту мысль и ограничусь лишь тем общепризнанным фактом, что это творчество вернее, чем, быть может, чье бы то ни было, дает нам возможность изучить общественные типы, отношения и самый дух 80-х и 90-х годов.

А если это так, то остается ли место сомнениям в необходимости при изучении Чехова обратить внимание на значительную, но совершенно не изученную публицистическую струю его творчества?

Плохая, скажут, услуга памяти писателя в этом извлечении его незрелых забытых страниц.

Не думаю. Во-первых, как и в отношении к его ранним и незрелым очеркам и рассказам, — кто призван установить критерий достойного воскрешения и достойного забвения? А во-вторых — и это самое главное — по отношению к Чехову менее всего уместны опасения публикацией несовершенных вещей умалить образ писателя. И не только потому, что это — громадная творческая фигура, но в силу того, главным образом, что самый характер этой фигуры таков, что она становится как бы еще крупнее, еще выше, когда мы обзираем ее во всей полноте ее творческих проявлений.

Надо признаться, что мало кому так не повезло у нас в смысле изучения, как именно Чехову. Этому заклтому и суровому врагу всяческой сантиментальности, благодаря целому ряду обстоятельств, усвоен был

у нас какой-то институтский образ небесного ангела, в готовом виде свалившегося к нам прямо с лазурных небес. Сладкие вздохи и приторное обожание обволокли его строгий, по глубокому моему убеждению, трагический образ кадильным дымом; перед его портретом повесили розовую лампадку умиления, затеняющую и искажающую его подлинные черты.

Эту лампадку давно пора разбить. А для этого нет более верного средства, как внимательно проследить весь творческий путь Чехова. Только присмотревшись к тому, с чего он начал, и постепенно дойдя до конца, мы поймем, что за могучий процесс роста представляет развитие этого писателя и как жалок этот фальшивый «готовый ангел с неба» рядом с фигурой, вырастающей на наших глазах почти от ничтожества до подлинного величия.

II.

Неизданная публицистика Чехова, это — его фельетоны «Осколки московской жизни», которые печатались в журнале Лейкина «Осколки» в течение 1883, 1884 и 1885 гг., обыкновенно раз в две недели, иногда и реже. Впоследствии один такого рода фельетон был перепечатан (в I томе писем Чехова в виде приложения), да и то с черновика, сохранившегося в бумагах А. П., и в сборнике трудов Пушкинского дома, изданных «Атенеум» в 1925 г., еще страничек восемь, — остальное, вместе с рядом мелких вещей Чехова, — сценок, шуток, пародий, — до сих пор остается погребенным на страницах этого, некогда довольно распространенного, юмористического журнала.

Первый шаг в юмористической публицистике сделан был Чеховым в июне 1883 г., как можно судить по переписке А. П. с Лейкиным — по предложению последнего. Чехов принял это предложение довольно нерешительно. Посылая свой первый опыт в новом для него роде, он замечает в препроводительном письме: «Не могу ручаться, что не буду сух, бессодержателен и главное неюмористичен. Буду стараться. Если годится, берите и печатайте, а если не годится, то... фюйт! Буду высылать вам куплетцы, вы выбирайте и, ради бога, не церемоньтесь. Данною вам от бога властью херьте все неудобное и подозреваемое в негодности».

Далее в том же письме: «Ранее Московские заметки велись неказисто. Они выделялись из общего тона своим чисто московским тоном: сухость, мелочность и небрежность. Если бы их не было, то читатель потерял бы весьма мало. По моему мнению, в Москве некому писать к вам заметки. Пробую свои силишки, но... тоже не верю. Я ведь тоже с московским тоном. Не буду слишком мелочен, не стану пробирать грязных салфеток и маленьких актеров, но в то же время я нищ наблюдательностью текущего и несколько общ, а последнее неудобно для заметок».

Последующие письма Чехова к Лейкину, касающиеся его злободневных фельетонов, сравнительно немногочисленны. Их господствующий тон, за немногими исключениями, — жалобы на отсутствие подходящих тем и материалов для фельетона. «Что-нибудь из двух: или в Москве событий нет или же я плохой фельетонист» (5 сентября 1883 г.). «Трепещу..

На этой неделе мне нужно стряпать фельетон для Осколков, у меня же ни единого события» (25 июня 1884 г.). «Сажусь писать оск. московской жизни. Полное отсутствие материала, Нововременский Курепин и Лукин из «Новостей» из кожи вон лезут, но их фельетоны не полнее моих осколков» (23 августа 1884 г.). «Фельетон ужасен... Материала никакого и поневоле приходится писать про Кузнецова и его салон — противно даже» (4 ноября 1884 г.). «Фельетона пока нет, потому что материала буквально — ноль. Кроме самоубийств, плохих мостовых и манежных гуляний, Москва не дает ничего» (22 марта 1885 г.). Кажется всего лишь раз Чехов отозвался с некоторой надеждой о своих опытах, — еще в сентябре 1883 г.: «Я мало-по-малу перестаю унывать за свои заметки». Но, повторяю, это единственное исключение.

Писание фельетонов давалось Чехову, повидимому, с трудом и во всяком случае проходило не с той легкостью, с какою, по свидетельству современников и самого писателя, он создавал в те же годы свои мелкие рассказы. Так, в ноябре 1885 г., т. е. уже к концу осколочно-публицистической полосы, он сообщает в письме к Лейкину: «Всегда перебежаю московскую жизнь, ибо пишу ее с потугами».

Замечу мимоходом, что уже одно это признание побуждает исследователей чеховского творчества уделить должное внимание его «Осколкам московской жизни». Как ни относиться к ним по существу, ясно, что в трудах и днях Чехова они занимают совершенно определенное место, что — удачны они или неудачны — Чехов в свое время потрудились над ними даже больше, чем над своими рассказами.

III.

На что, на какие явления жизни откликался Чехов в своих публицистических фельетонах?

Я попытался, чтобы ответить на этот вопрос, расклассифицировать эти отклики по роду их тем, кстати фельетоны Чехова представляют из себя по большей части самостоятельные заметки.

Сознавая всю справедливость возможного упрека в произвольности и искусственности сделанной мною разбивки чеховских фельетонов по темам, поделюсь тем не менее добытыми результатами.

Всего получилось у меня десять разрядов.

I. *Быт и нравы Москвы*. Это один из самых больших и самых разнообразных по составу отделов. Отталкивающая грубость московских похоронных бюро — и усиленный сезонный спрос на женихов; увлечение москвичей археологией — и погода не по сезону; злоупотребления в магазине Елисеева, кабала обывателя у московских водовозов, институт нищенства в Москве, характер встречи нового года, описание московской традиционной свадебной кареты, непристойная вывеска, притеснение рабочих на одном из заводов, сбор всех горбатых московских извозчиков, и т. д., и т. д., и т. д.

II. *Общественные и просветительные дела*. Этот отдел сравнительно невелик. Сюда относятся: выборы городского головы, борьба приказ-

чиков за праздничный отдых, юбилей Училища живописи, ваяния и зодчества, распоряжение старшины Мещанской управы не допускать на заседания газетных репортеров, антисанитария в мещанской богадельне и др.

III. *Земство*. Это один из самых скудных по объему отделов, — всего две-три заметки.

IV. *Искусство и развлечения в Москве*. Самый обширный отдел. Сюда входят заметки о театре, музыке, живописи и архитектуре, а также о бегах, скачках, кафешантанах и т. п. Думаю, что добрая половина чеховских фельетонов исчерпывается названным отделом, а в рамках его господствующее место занимает театр.

V. *Литературные явления*. Этот отдел невелик. Чехов выступает здесь не в роли критика, а скорее в роли бытописателя литературных нравов. Рекламная шумиха вокруг нового литературного произведения, посвящение под видом своей вещи романа Франсуа Коппе, переделка Маркевичем в пьесу своего романа, претенциозность тех или иных писателей и т. д.

VI. *Пресса*. Тоже небольшой отдел. Перемены в составе редакций, газет и журналов, прекращение и возникновение органов прессы, характеристика тех или иных отделов в газетах, роль прессы в громких судебных процессах, отсутствие корреспондентов в провинции, случаи избивания рецензентов, случаи плагиата и т. д.

VII. *Об интеллигенции*. Отдел небольшой, но для Чехова характерный. Своеобразие корпоративной этики у различных групп интеллигенции, случаи нарушения этики, празднование Татьянина дня, непогашение заемщиками из кассы Общества вспомоществования недостаточным студентам своих долгов и т. д.

VIII. *Суд*. Отдел довольно большой и разнообразный. Судебный процесс о билете, на который пал выигрыш, неотдача долга монаху как лицу, не имеющему права получать формальные юридические обязательства, иск об алиментах к миллионеру Солодовникову со стороны его незаконнорожденных детей, процесс по поводу оскорбления, нанесенного полицейскому приставу: обвиняемый показал ему кукиш — и т. д.

IX. *Железнодорожные порядки*. Тут и знаменитый Кукуевский процесс¹⁾, и грубость обер-кондукторов, и характеристика только что введенного на дорогах IV класса, и обездоленность железнодорожных рабочих, потерявших трудоспособность, и др.

X. *Varia*. Итоги дачного сезона, пари — кто кого перепьет, закончившееся смертью, приезд индейцев в Москву, заметка о двух гимназистах, проделавших дорогу из Твери в Москву в уборной, обилие бешеных собак и т. д., и т. д.

Чтобы дать представление об этих заметках, я приведу здесь по одной — по две из каждого отдела. Общий объем всех этих неизданных фельетонов Чехова составил бы, я полагаю, около двух новых томов его сочинений нивского типа.

¹⁾ По поводу грандиозной кукуевской железнодорожной катастрофы, повлекшей за собою множество человеческих жертв.

I. Быт и нравы Москвы.

Москвичи рады случаю выпить, а потому Новый год был встречен с объятиями распростертыми. Выпили ланинской жижицы, набалбесили на маскараде Большого театра, опохмелились и теперь вкушают повое счастье. Судя по количеству разбитых бутылей, испорченных животов и подсиненных физиономий, это новое счастье должно быть грандиозно, как железнодорожные беспорядки. Мраком неизвестности оно не покрыто, а потому предвкушения и пророчества не составляют особой трудности... Вот оно... Родится, по примеру прошлых лет, очень много великих людей, девять десятых которых пойдет на замещение охотнорядских вакансий. Водочная вдова Попова будет принимать на службу в свой водочный завод исключительно только православных и девственников. Будет сочинено много ерундистых речей и плохих статей о водоснабжении. Московские поэты напишут много прочувствованных стихотворений по адресу спящих гласных, кассиров, тещ и рогатых мужей. Сивый мерин, скорбя о падении печатного слова, побьет палкой какого-нибудь «нашего собственного корреспондента». Торжествующая свинья, в видах поднятия общественной нравственности, порекомендует упразднить уличные фонари. Кузька и Гессенская муха откроют благотворительное заведение и напишут по статье об искусственном поднятии курса. «Московский листок» будет переименован в «Сдай назад!» и т. д. В общем будут скачки с препятствиями, торжество крокодилов, винт и выпивка.

II. Общественные и просветительные дела.

Наши прикащики из кожи вси лезут. Баловникам хочется во что бы то ни стало завоевать себе праздничный отдых. Им хочется в праздники и в тепле посидеть, и на диване поваляться, и по Кузнецкому с тросточкой пройтись. Лет десять выкрикивает они это свое желание устно и письменно, и только на-днях в нашей управе сочинен соответствующий доклад. На этот раз дело, вероятно, выгорит, и прикащики убьют сразу двух зайцев: отдых и сознание, что «наша взяла».

Ну, а мальчишки-лавочки? Мальчишки останутся на прежних основаниях. Они будут по праздникам, пока лавка заперта, чистить тазы и самовары, выносить помой, нянчить хозяйских детенышей и за все это получать трескучие подзатыльники... Ведь правда? Кошки, собаки и мальчишки-лавочки пользуются давней, всем известной «magna charta libertatum»: их может бить и увечить желающий домочадец. Нет на мальчишке синяков — значит домочадцы на богомолье уехали. Бить ребят можно сколько угодно и чем угодно. Не хочешь бить рукой, бей веником, а то и кочергой или мокрой мочалкой, как это делают хозяйки и кухарки. Мальчишки ложатся в 12 ч., встают в 5. Едят они объедки, носят драные лохмотья, засыпают за чистой прикащичьих сапогов. День в холодной, сырой и темной лавке, ночь в кухне, или в холодных сенях, около холодного, как лед, рукомойника. И этаких «герцог-винцев» не десять, не сто, а тысячи! Спросите-ка их, рады ли они тому, что по праздникам не будет торговли? Они ответят «нет». В лавке сидеть для них много легче, чем дома. В лавке мальчику трудно, но тут он сознает, что он дело делает и знает одного только хозяина, дома же он маленький каторжник, угрождающий даже пожарному, который по праздникам шляется к кухарке. Он рад и не ночевать бы дома, коли б можно было, а не только что справлять там свои праздники. На эту тему можете владеть потолкочать с любым прикащиком, пережившим мальчишество.

Итак, прикащики будут отдыхать, мальчишки же наоборот. Прикащикам грешно не повоевать за своих маленьких товарищей.

III. Земство.

В прошлом году, как только заговорили о холере, управа придумала санитарных попечителей и санитарных врачей, с жалованием по 125 рублей в месяц каждому. В первые дни своего служения врачи ходили по дворам и домам, вычисляли кубиче-

ские футы и удивлялись человеческой нечистоплотности. Потом же, когда толки о холере приутихли, они перестали вычислять кубические футы и занялись другой, не менее плодотворной работой. Получают они теперь свои 125 рублей, воспитывают в страхе детей, женятся, обедают, пьют чай, курят «Египетские» и насвистывают романсы... холере остается только испугаться таких экстренных мер, подобрать полы и по добру-здорову удрать...

IV. Искусство и развлечения в Москве.

Наш театральный сезон можно поздравить с «первоначатием», как говорят университетские сторожа. В «Русском театре» уже начались спектакли. Только с началом и можно поздравить этот сезон, а больше ни с чем. Достопримечательностей и новинок в области театральной ровно никаких. Тот же вздыхающий, слезоточивый и вспыльчивый г. Иванов-Козельский, тот же бойкий и донельзя развязный г. Далматов... Будем попрежнему глядеть лакомые кусочки В. Александрова, донельзя надоевшее «В царстве скуки» и другое прочее, тоже весьма надоевшее. Потянутся опять длинной чередой вечера за вечерами, действие за действием, рецензия за рецензией... Опять г. Корш поссорится с артистами, артисты с г. Коршем... Водка, душная курильная... давка у вешалок... Выйдешь из театра — на дворе грязь, холод, суровое небо, продрогшие извозчики. Изволь тут острить и игриво фельетонничать, когда предчувствуешь такую перспективу и убежден, что предчувствие сбывается!..

Кроме биржи, в которой следят за падением рубля и плодятся биржевые зайцы, в Москве существует еще другая биржа — актерская. Ежегодно в Великом посту со всех сторон нашего необъятного отечества стекаются в Москву благородные отцы, резонеры, первые любовники, трагики и прочие Синичкины и творят актерскую биржу. Для актера Москва такой же рынок, как и для невест. Тут он оценивается, продает себя с аукциона и закабалается на весь предстоящий сезон. Съехавшиеся артисты выбирают обыкновенно для «совещаний» какой-нибудь «Ливорно» или «Ливерпуль», занимают тут все столы и превращают ресторан в нечто вроде метеорологической станции: следят за барометром иблюдут направление ветров. Высота ртутного столба различна, смотря по времени. В первую неделю поста Синичкин сидит за столом и свысока поглядывает на человечество. Глядя на него, нельзя сказать, что он прекрасный Иосиф, продающийся в рабство. Он горд и неприступен, как Карс. На груди его переливает огнями массивная золотая цепь неопределенной пробы — подарок житомирской публики. Рядом с цепью болтаются другие бутафорские вещи вроде брелок, медальонов и жетонов. Он держит в руках газету, и так ловко, что посетителям, где бы они ни стали, видны все десять его пальцев, обремененных массивными перстнями с не менее массивными бриллиантами чистейшей воды — подарки публики иркутской, курской, вологодской и енисейской. На столе, около локтя, блестит портсигар — поднесение воронежской молодежи. А молодежь умеет ценить истинные таланты! Тут же на столе порция бифштекса, балык, Смирнов № 21 и красное... Говорит Лев Гурыч в нос, движения его небрежны... В «антррепренерах, чорт их возьми!» он не нуждается, а если и сидит здесь, то только так... повидаться кое с кем пришел. Во вторую неделю поста картина несколько видоизменяется. На груди почему-то уже не видно цепи, Синичкин достает папиросы из кожаного портсигара и утверждает, что красное вино вредно для здоровья, ибо крепит желудок. Он пьет одного только Смирнова № 21, закусывает белужьиной и небрежно изъявляет желание «понаблюдать» антрепренеров. Это такие типы! На третьей неделе не видно уже ни одного подарка от публики, за исключением впрочем бриллиантовых перстней, оцененных в ссуде в двугривенный за «неподражаемую подделку». На столе сиротливо вдовствует пустая пивная бутылка, а рядом с нею валяется кусочек соленого огурца... Синичкин конфузливо просматривает карточку обедов и изподлобья наблюдает за охотящимися антрепренерами. На четвертой неделе — он червь, он раб, он бог! Антрепренер дождался-таки, пока

с его пальцев сползали фальшивые бриллианты, уловил момент, посмотрел в зубы и завербовал. В этом году актерская биржа блуждает. Сначала своей резиденцией избрала она «Ливорно». Скоро «Ливорно» не понравилось, и актерствующая братия пожелала сделать честь Dusseau. У Дюссо намекнули, что съеденные огурцы и выпитый Смирнов № 21 не окупают истоптанных ковров и отабаченного воздуха. Пришлось ретироваться в «Ригу». В «Риге» что-то не поладили и ретировались. Теперь, говорят, Лентовский отдал под биржу пустующие залы своего театра. Теперь уж у постников есть приют.

Москва питает пристрастие к свинству. Все свинское, начиная с поросенка с хреном и кончая торжествующей свиньей, находит у нас самый радушный прием. В Москве уважаются в особенности те свиньи, которые не только сами торжествуют, но и обывателей веселят. Когда купцы «стрескали» свинью клоуна Танти¹⁾, то место ученой свиньи не долго оставалось вакантным. Клоун Дуров, соперник Танти по части свинства, обучил фокусам другую свинью и дал опечаленным москвичам забыть о покойнице, переваренной купеческими желудками. Дуровская индигма представляет обывателям самые эстетические наслаждения. Она пляшет, хрюкает по команде, стреляет из пистолета и не в пример прочим московским хрюкалам... читает газеты. На последнем гулянии в манеже Дуров предложил, как один из фокусов, чтение свиньею газет. Когда свинье стали подносить одну за другой газеты, она с негодованием отворачивалась от них и презрительно хрюкала. Сначала думали, что свинья вообще не терпит гласности, но когда к ее глазам поднесли «Московский листок», она радостно захрюкала, завертела хвостом и, уткнув пяточек в газету, с визгом заводела им по строкам. Такое свинское пристрастие дало право Дурову публично заявить, что все вообще газеты существуют для людей, а популярная московская газета и проч. Публика, читающая взасос «Московский листок», не обиделась, а напротив, пришла в восторг и проводила свинью аплодисментами...

V. Литературные явления.

Знающих людей в Москве очень мало; их можно по пальцам перечесть, но зато философов, мыслителей и новаторов не оберешься — чортова пропасть... Их так много и так быстро они плодятся, что не сочтешь их никакими логарифмами, никакими статистиками. Бросишь камень — в философа попадешь, срывается на Кузнецком вывеска — мыслителя убивает. Философия их чисто Московская, топорна, мутна, как Москва-река, белокаменного пошиба и в общем яйца выеденного не стоит. Их не слушают, не читают и знать не хотят. Надоели, претенциозны и до безобразия скучны. Печать игнорирует их, но... увы! печать не всегда тактична. Один из наших доморожденных мыслителей, некий г. Леонтьев сочинил сочинение «Новые христиане». В этом глубокомысленном трактате он силится задать Л. Толстому и Достоевскому и, отвергая любовь, взывает к страху и палке, как к истинно русским и христианским идеалам. Вы читаете и чувствуете, что эта топорная, нескладная галиматья написана человеком вдохновенным (москвичи вообще все вдохновенны), но жутким, необразованным, грубым, глубоко прочувствовавшим палку... Что-то животное сквозит между строк в этой несчастной брошюрке. Редко кто читал, да и читать незачем, этот продукт недомыслия. Напечатал г. Леонтьев, послал узаконенное число экземпляров и застыл. Он продает и никто у него не покупает. Так бы и заглохла в достойном бесславии эта галиматья, засохла бы и исчезла, утопая в Лете, если бы не усердие... печати. Первый заговорил о ней В. Соловьев в «Руси». Эта популяризация тем более удивительна, что г. Леонтьев сильно нелюбим «Русью». На философию г. В. Соловьева двумя большими фельетонами откликнулся в «Новостях»

¹⁾ Образчик тупого купеческого самодурства, к которому неоднократно возвращается Чехов в своих публицистических заметках: подвыпившие московские купцы купили за несколько тысяч рублей у клоуна Танти его дрессированную свинью и... съели ее!

г. Лесков... Не тактично, господа! Зачем давать жить тому, что по вашему же мнению мертворожденно? Теперь г. Лескотьев ломается: бурю поднял! Ах, господа, господа!

VI. Пресса.

Кто хочет в наши дни видеть прогресс, тот пусть ищет его в малой московской прессе. Тут царит необычайное движение и в людях, и в бумаге, и в мыслях. Газеты прыгают с рук на руки с легкостью гоголевской коляски. Вчера «Жизнь» велась Плевако, сегодня она в руках Коробочки, печатающей пушкинскую «Пиковую даму», завтра ее купит М. И. Желтов, и доселе еще не потерявший надежды купить себе на ярмарке новые брюки, кисет и газету. «Голос Москвы» вчера принадлежал г. Васильеву, сегодня он под омофором некоего Зарубина и т. д. Вместе с переходом из рук в руки всякий раз меняется и направление газеты. Вчера вы читали статью г. Васильева о гнилости либерализма, а сегодня какой-нибудь афганец в игривых куплетцах советует приправить чесноком и изжарить на гусином сале Липскерова или же подносит вам приглашение заглянуть в трактир, где он в щях съел таракана. Что же касается направления по части убеждений, то в нашей малой прессе оно остается всегда и неизменно «западно-восточным». Заметно сильное движение и в атлантах, держащих на себе своды малой прессы. Двигаются они от утра до вечера, не отдыхая ни на минуту. Напьются утром чаю в одной редакции и идут толпой в другую редакцию, где закусывают и показывают кукиши первой; обедать идут в третью редакцию, где предают анафеме две первых и т. д., и все эти хождения делаются из «принципа». Недурно делают эти калыки перехожие, если оставят потомству свои дневники. Пусть хоть потомство узнает как это, не имея абсолютно никакого ценза, кроме способности «чавкать» и за раз выпивать по 20 рюмок, можно сделаться газетным дельцом.

Недаром ваш Суворин ¹⁾ величает нашего Гилярова «стилистом, философом» и проч. Поглядите-ка, какую штуку стилистнул этот стилист, и какую философию сьерундил этот философ!

В одном из последних номеров своей газеты он советует «неразумным» хозяйкам бросать раков не в кипяток, как это обыкновенно делается, а в холодную воду. «Раки понемножку привыкают к теплу и во всяком случае, неприметно для них, окажутся в том же кипятке». Консерватор заступился за раков — это так и следует. Это так же естественно, как если бы он заступился за Пихно. Но предоставляю «неразумным» хозяйкам и кухаркам растолковать разумному ракофилу, что едва ли возможно даже самому чахоточному раку умереть «неприметно» в медленном огне. Умы!!!

VII. Об интеллигенции.

Поедают они у Оливье жирные, двухрублевые обеды, женятся на богатых купчихах, пьют монахор, глотают устриц... И устрицы лезут им в глотку.

Я говорю о благополучно витийствующих прокурорах, плачущих за человека защитниках, добродетельных педагогах, неустанно визитирующих докторов, вообще о всех тех, которые когда-то были «недостаточными» и брали взаймы у «Общества вспомоществования недостаточным студентам». Это общество собирается петь свою лебединую песню. Медленно, систематически обираемое в продолжение нескольких лет, оно наконец падает на спину и испускает свой последний вздох, свою последнюю, бессильную, никем не слушаемую жалобу. Господа прокуроры, доктора и педагоги не находят нужным платить обществу свой долг. Некогда им думать о каких-нибудь—фи!—пятидесяти, ста рублях! Они заняты своей сытостью. И устрицы лезут им в глотку!

Лезут и будут лезть. Редки нынче хорошие плательщики, так редки, что хоть в музей их сажай. Недаром мы на платящего долг смотрим как на полубога... Не-

¹⁾ Ваш — т. е. петербургский («Осколки» выходили в Петербурге).

ужели, господа, чтобы уплатить сторублевый долг недостаточно одной только нашей обыкновенной воспитанности, а нужна еще какая-то необыкновенная порядочность, из ряда вон выходящая честность? Впрочем, все подобные вопросы стары, как петербургские балерины.

VIII. Суд.

Известный своими добродетелями, грамотный (зри его письмо в «Новостях дня») папаша собственных детей, Солодовников, даст и больше для вкусовых и прочих нервов¹⁾. Денег у него и куры не клюют. Он тоже обитает в моем районе, и поговорить о его деле, которое тоже кончилось на-днях,— мое дело. Петербургская судебная палата, отменив приговор окружного суда, обязала папашу выплачивать детям и «ей» только по 2 000 каждому. То есть по столько, сколько стоит свинья клоуна Тапти.

Дети сугубого миллионера, загребающего деньжищи лопатой, будут получать до совершеннолетия только по 2 000; ну, а сколько получит с папашы доктор разных прав и не-прав — Лохвицкий?²⁾ Думаю, что сей человек много бы потерял, если бы поменялся своим гонораром с папашиними детьми.

IX. Железнодорожные порядки.

Московско-курская дорога находится в моем районе. Мое, стало быть, дело потолковать о финале именитой Кукуевки. Финал этот не блестящ и ни на грош не эффектен. Никого не засадили, никого не сослали, никому внушения не сделали, а только взыскали штраф в размере трех тысяч пятисот рублей. Только...

Удовольствие спустить поезд с насыпи и отправить на тот свет сотню человеческих душ стоит, значит, ровно 3 500 рублей. Запишу эту цифру в каталог кушаньев, вин, водок и прочих удовольствий. Авось, когда разбогатею, вздумается побаловаться, пощекотать свое небо дорогом перышком. Для «хорошего» инженера и посредственного железнодорожника бросить *peur plaisir* какие-нибудь 3 500 руб. так же тяжело, как обыкновенному смертному купить на гривенник персидского порошку...

Московско-рязанская дорога расчувствовалась, раскисла и учредила в себе для немущих пассажиров IV класс. Таковой подвиг человеколюбия был поднят на ура и поставлен в пример прочим дорогам: «Нельзя не приветствовать почина, сделанного Московско-рязанской дорогой» и проч. Для руководства других дорог описываю этот подвиг во всей его красе. Учредить IV класс не так трудно, как думают, было бы лишь желание начальства. Берутся для этого обыкновенные товарные вагоны с надписью: «Сорок человек и восемь лошадей», в вагонах расставляются скамьи— вот и IV класс. Во-вторых, не следует робеть. Нужно отбросить всякие нежности и набивать вагоны живым товаром елико можаху, до тех пор, пока с живья не потечет сало и в вагонах не станет тесно, как в коробке сардинок. IV класс Московско-рязанской дороги набит обыкновенно доверху. Пассажиры сидят на головах друг друга: в тесноте да не в обиде и цечей не надо... Вагоны запираются наглухо, отчего происходит скопление углеводородов и сероводородов, утилизируемых начальством движения для осветительных и иных целей. Пассажиры, повидимому, довольны. По крайней мере до сих пор еще ни один лапотник не ходил с жалобой к директору и не протестовал печатно. Дорога тоже довольна. Вozить в товарных вагонах живой товар выгоднее, чем лес, пеньку, железо... Она так увлеклась своим добрым почином, что думает уступить для IV класса кубы, в которых перевозится нефть, и кули из-под шерсти. Да, нельзя не приветствовать!

¹⁾ Данная заметка идет в «Осколках московской жизни» непосредственно за следующей заметкой из отдела IX.

²⁾ Известный в свое время адвокат, выступавший в иске об алиментах к миллионеру Солодовникову со стороны последнего.

X. *Varia.*

Бишоп и у нас узнавал «мысли». Стал ли он после этого умнее или нет — сказать трудно, но думаю, что не стал, ибо, исследуя тысячу человек, он у всех нашел одну и ту же мысль:

— Не дай бог, узнают мои мысли! Человек я семейный...

Один околоточный надзиратель, бывший на опытах и узнавший, что у всех есть мысли, поморщился и пробормотал:

— Все это от недосмотра... Мусью Бишоп, нешто так и надо, чтоб у всех людей мысли были?

— Полагаю...

— Могу вам заметить, что вы клевете! Да-с! Может быть, у вас там в Англии и есть мысли, но у нас окромя благочестия и повиновения родителям... Празойдитесь!

Были впрочем люди, которые не боялись открывать свои мысли. Во главе таковых стоит известный Федор Гиляров, автор весьма многих передовых. В его голове Бишоп нашел следующую мысль: «Пять копеек за строчку, а там будь ты хоть Чуркин, хоть Гамбетта — мне все равно». У редакторов обрел он мысль целебную: «Если бы в Шереметьевском пер. рядом с чистилищем да не было бы водолечебного заведения, тогда хоть ложись да помирай! Негде было бы и освежиться...»

Одной лошадиной реформой больше. Пресса и прессованное сено подали друг другу руки. Некий А. Головин публикует, что прессованное сено продается «во всех складах и во всех киосках, где продаются газеты, журналы и другие произведения печати». Что и требовалось доказать. Все, подлежащее сжатию и прессовке, снесено в одно место, в видах экономии места и для удобства г. г. жеребцов, имеющих обыкновение закусывать после сена газеткой.

IV.

О том, что публицистические заметки Чехова слабы, большого спору быть не может. Но слабость их все же относительная, а не абсолютная. Во-первых, надо отметить, что, как ни кажутся наивными эти публицистические стрелы молодого Чехова, они попадали порой в цель и, повидимому, наносили довольно чувствительные ранения. Об этом можно догадываться хотя бы по тем письмам Чехова, где он просит Лейкина ставить под «Осколками московской жизни» новый псевдоним (Чехов вначале подписывался «Рувер», впоследствии «Улисс»), так как прежний стал многим известен, и к автору начали относиться враждебно. Во-вторых, мы имеем свидетельство взыскательного в данном случае современника, редактора «Осколков» Лейкина, который писал к Чехову в конце 1883 г.: «Вы пишете относительно «Московского обозрения» — не похерить ли нам Рувера. О ерунде писать не хочется, да и не следует. Вообще не клеится мой фельетон» (цитируемое Лейкиным письмо Чехова отсутствует в собрании его писем). «С этим, — продолжает Лейкин, — я не согласен и скажу вам прямо: как бы ни был плох Рувер, он все-таки лучше пишет, чем вся московская братия, до сих пор писавшая у меня в «Осколках». Да я и не нахожу, чтобы ваши фельетоны были плохи. Сам себе никто не судья, а я вашим писаньем доволен».

Если Лейкин, редактор и издатель «Осколков», столь категорически и настойчиво удерживал Чехова на публицистическом поприще, то это

несомненное доказательство, что фельетоны А. П. пользовались в тогдaшнее время успехом: Лейкин был человек расчетливый. Но все же, повторяю, ясно, что публицистика Чехова была сравнительно бледна и притом как-то ровно бледна, даже без отдельных ярких вспышек.

Чем это объяснить?

Прежде всего необходимо отвести те объяснения, которые как бы сами собой напрашиваются, но которые оказываются несостоятельными при внимательном исследовании вопроса.

Первым делом, конечно, приходит в голову самое простое соображение: публицистика была чужда Чехову, и потому он оказался в ней слаб.

Однако мы знаем, что несколько лет спустя Чехов создал публицистическую книгу необычайной силы: я имею в виду «Остров Сахалин», стало быть, утверждать, что публицистика была для Чехова чем-то чужеродным, творчески недоступным — нельзя или можно лишь с определенными ограничениями, т. е., что чужда была ему публицистика данного рода.

Такого же отвода или же ограничения заслуживает и второе кажущееся объяснение: ссылка на цензуру. Что представляла из себя цензура первой половины 80-х годов, мы, конечно, все знаем, и все же не в ней причина. Что это так, видно хотя бы из того, что как раз в отношении своих публицистических фельетонов Чехов почти не жалуется на цензуру в своих письмах той поры, в то же время постоянно жалуясь на цензурный разгром своих художественных юмористических очерков и рассказов. Тот же «Остров Сахалин» свидетельствует, что вопреки тупой и грубой цензуре Чехов умел найти путь к публицистической трактовке такой скользкой темы, как система предельного унижения человеческого достоинства в тогдaшней России. Это же самое явствует также из его очерков и сценок той поры.

Целый ряд таких очерков, являвшихся настоящей сатирой на современные нравы и порядки (как, например, «Хамелеон», «В бане» и другие), уцелевал от цензурных наскоков. Конечно, свою долю отрицательного, обесцвечивающего влияния оказывала цензура и на «Осколки московской жизни», но все же не этим по преимуществу объясняется их бледность.

И, наконец, к тому же разряду объяснений, подлежащих отводу или ограничению, приходится отнести и кажущуюся на первый взгляд такой убедительной ссылкой на молодость автора. Опять-таки простое сопоставление «Осколков московской жизни» с целым рядом художественных шедевров Чехова, которые он писал одновременно с публицистическими фельетонами, лишает эту ссылку ее доказательной силы. Такие жемчужины, как тот же «Хамелеон», «Хирургия», «Дочь Альбиона», «Толстый и Тонкий», «Экзамен на чин» и т. д. и т. д. относятся к той же поре чеховского творчества. Правда, на то же время приходится не мало его слабых очерков и рассказов, вошедших в дополнительные томы издания Маркса, приложенного к «Ниве». Но в том-то и дело, что они перемежаются

с его шедеврами, в то время как «Осколки московской жизни» односторонне-бледны. Стало быть объяснения надо искать не в незрелости автора, не в ней одной во всяком случае.

V.

• От объяснений простых, соблазнительно ясных, но не выдерживающих перекрестного испытания фактов, волей-неволей приходится обратиться к объяснениям более сложным, осторожным и не столь ясным.

Прежде всего проверим самое впечатление серости этой ранней чеховской публицистики: сколько повинен здесь автор и сколько — самый род данной литературы. Если не говорить о явлениях исключительных в этой области, то публицистическая заметка по самой своей природе есть нечто недолговечное, летучее, своего рода литературная однодневка. Из тысяч и миллионов публицистических откликов на злобу дня почти ни один этого дня и не переживает, хотя в момент появления бывает и нужным, и волнующим современников, и вызывает в свою очередь сочувственные и враждебные отголоски. Чеховская ранняя публицистика ни на что большее, как на легкий отклик на злобу дня, конечно, и не претендовала. И теперь, когда в силу стимулов, вне достоинства этой публицистики лежащих, мы извлекаем ее из долгого забвения, нам необходимо при ее безотносительной оценке вспомнить об ее условном значении. Итак, она бледна отчасти и потому, что она есть отклик на злобу дня, давно и безвозвратно умершую.

Второе, на что мы должны обратить внимание, это искусственность формы, в которую Чехов должен был насильственно вгонять свою публицистическую работу. А именно: непременно это должен был быть легкий юмористический «осколочный», как выражался Чехов, фельетон, predeterminedный всем обликом журнала.

Я сознаю, что утверждение это звучит парадоксально: какую такую искусственность можно усмотреть в требовании юмористического фельетона от такого стихийного юмориста, каким был молодой Чехов? Тем не менее я думаю, что «Осколки московской жизни» давались Чехову, как мы это видели, с трудом и не удавались ему в значительной мере именно потому, что они должны были быть легковесными откликами на серьезные явления жизни.

Что в Чехове была заложена могучая стихия юмора — совершенно бесспорно, но столь же бесспорно и то, что это была не единственная стихия его творческой души. Когда несколько лет спустя он вернулся на время к публицистике, то у него получилась книга великой печали и великого, хотя и сдержанного гнева — «Остров Сахалин». Этими же струями грусти и скрытого гнева все гуще стали окрашиваться рассказы Чехова в промежуток между «Осколками московской жизни» и поездкой на Сахалин. Можно прямо сказать, что в них эти краски — скорби и гнева — начинают неуклонно вытеснять краску юмора, и чем дальше, тем больше.

Если же мы обратимся к его очеркам, рассказам и сценкам, появившимся в 1883, 1884 и 1885 годах, т. е. в пору «Осколков московской

жизни», то увидим, что почти сплошь — это один юмор, в котором лишь изредка просквозит нотка грусти или негодования.

Отсюда два предположения: либо Чехов как писатель ничего, кроме смешного, в ту пору и не наблюдал и никаких откликов, кроме юмористических, в своей душе не находил, либо и наблюдения иного, не-юмористического рода, и потребность откликнуться на них — были, но не было для них естественного выхода.

Думаю, что вернее второе. Уже а priori можно утверждать, что в творческой натуре писателя не бывает в зрелости того, чего не было в виде зерна и ранее, в его юности. Как это в самом деле представить себе, что вот до такого-то года был Чехов весел и весел, а два-три года прошло — и вдруг «Иванова» написал и сбухты-барахты на Сахалин уехал наблюдать всю глубину унижения человеческого достоинства. Такие превращения не делаются вдруг.

Но и помимо таких психологических и косвенных предположений есть не мало прямых признаний Чехова, определенных его указаний относительно причин, обусловивших характер его творчества первоначальных лет. Прочтите первое же письмо Чехова к Лейкину (оно же вообще первое из дошедших до нас письмо в *литературной* переписке Чехова) от марта 1883 г. и сразу вы встречаете: с одной стороны — требование Лейкина, чтобы Чехов не выходил из границ юмористики, и стремление Чехова — выйти за эти границы. «Вы à priori замечаете, — пишет Чехов, — что мои «Верба» и «Вор» несколько серьезны для «Осколков». Пожалуй, но я не посылал бы вам несмеотворных вещей, если бы не руководствовался при посылке кое-какими соображениями. Мне думается, что серьезная вещица, маленькая, строк примерно в 100, не будет сильно резать глаз, тем более, что в заголовке «Осколков» нет слов «юмористический и сатирический», нет рамок в пользу безусловного юмора. Вещичка (не моя, а вообще) легонькая, в духе журнала, содержащая в себе фабулу и подобающий протест, насколько я успел подметить, читается охотно». И далее в том же письме: «Да и правду сказать, трудно за юмором угоняться! Иной раз погонишься за юмором, да такую штуку сморозишь, что самому тошно станет. Поневоле в область серьеза лезешь». В знаменитом письме к Григоровичу Чехов твердо и ясно заявляет: «Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал».

Итак, мы имеем свидетельство самого Чехова, датированное 1883 г., о его стремлении выйти из рамок обязательной юмористики, о потребности в вещах с протестом и о тщетности этих порывов, пресеченных требованиями редактора. А от 1886 г. мы имеем заявление Чехова о том, что он «берег и тщательно прятал» целый ряд дорогих ему образов и картин. Между этими двумя датами и лежит период «Осколков московской жизни». Писание их и должно было дать выход тем иным, не специфически-юмористическим настроениям и потребностям Чехова, какие у него в ту пору были.

Оказались ли публицистические работы Чехова таким выходом?

Безусловно нет. «Осколочные» требования сохранили всю свою силу и по отношению к этой полосе чеховского творчества и совершенно искривили его. Самая природа публицистики, самая задача, за которую взялся Чехов, осуждала его на кричащее противоречие: писать несерьезно, «осколочно» о серьезном и важном.

В самом деле. Если мы просмотрим темы его публицистических фельетонов, мы без труда заметим, что лишь малая доля их не противится легкой, «осколочной» обработке. Подавляющее большинство, — это темы о тяжких несовершенствах русской жизни, о грубости нравов, об унижении человеческого достоинства, о расценке в грош человеческой жизни, об отсутствии элементарной честности и порядочности в обществе, о темноте и невежестве, о низком уровне прессы и т. д., и т. д. Здесь был материал либо для гневной сатиры, либо для печальных размышлений, для чего угодно, но только не для клубно-послеобеденного осколочного невинного смеха. Представьте на минуту, если бы свои сахалинские впечатления Чехов вынужден был обрабатывать для «Осколков», и вы поймете всю трудность, искусственность и противоречивость положения как публициста, в каком он находился.

И эта наигранно-шутливая обработка серьезных тем самым беспощадным образом мстила за себя. Во-первых, она давалась автору с трудом и напряжением. Во-вторых, она делала неузнаваемым чеховское перо. Где этот магический сдержанный чеховский тон, который действует на читателя сильнее всяких кричащих обличений и филиппик? Вместо него — какая-то наигранная, почти разухабистая небрежность и резкость характеристик. Где чеховская щепетильная осторожность суждений даже о хорошо ему знакомых вещах? Вместо нее — безапелляционные приговоры, о вопросах, в которых он не вполне компетентен. Даже беспримерное чеховское уважение к человеческой личности порой отсутствует в этих его фельетонах. Вот две-три выдержки из них, которые так странно сейчас читать и так трудно связать с именем Чехова:

Из-за границы пристана в жестянках партия маринованных рецензентов. Доморожденных нехватит, ибо в Москве так много театров и зрелищ, как никогда не бывало. Считайте: 1) Большой театр. Тут опера и балет. Нового ни на грош. Артисты все прежние и манера петь у них прежняя, не по нотам, а по отношениям и циркулярам родной конторы. В балете вместе с балеринами пляшут также тетушка Ноя и свояченица Мафусаила. 2) Малый. Нового тоже ничего. Та же не ахти какая игра и тот же традиционный, предками завещанный ансамбль, против которого не погрешают даже октава Акимовой, сухость Вильде, шарж Музиля, закатывание глаз Ленского и быстрота речи Александрова. 3) Опера Саввы Мамонтова. Расходо в 29 000 в месяц, а доходов в 29 000 раз меньше. Управляет композитор Кратнов, дирижирует Бевиньяни, плохо поют артисты. Ждут итальянцев. 4) Новопостроенный театр Корша. Состав труппы качеством и количеством напоминает постный винегрет: все есть, кроме самого главного — мяса. Тут есть старая знакомая Глама (которую московские стихотворцы рифмуют с драмой и Далайламой), старушка Бороздина, бабуся Красовская, цирлих-манирлих Рыбчинская, говорящая басом Мартынова, есть какие-то Бредова, Лерман, две Ильиных, есть Гусева и даже Страус...

Вниманию психиатров. В Москве водится некий Анатолий Дуров, молодой человек, выдающий себя за «известного» клоуна. Где кучка людей, там и он, кричущийся и ломающий дурака...

Его картина, которую он готовит для нашего исторического Музея¹⁾, до того ужасна, что в могилах ворочаются кости всех живших от начала века до сегодня, и волосы седеют даже на половых щетках. Когда глядишь на нее, то чувствуешь мурашки не только по спине, но даже на пальто и сапогах. Картина эта изображает в сущности чепуху, но в этой чепухе надо понимать отнюдь не чепуху, а нечто пре-выспреннее, обер-аллегорическое... Да простит ему Аллах эту мутную кашу. А говорят, было время, когда г. Васнецов не занимался аллегориями и подавал надежды...

Мы знаем, что Чехов не любил современной ему критики. И не потому только, что она была часто несправедлива к нему, а потому, что самая резкость суждений, обычная в критике, отталкивала его. «Я не журналист, — писал Чехов к Суворину в 1893 г., — у меня физическое отвращение к брани, направленной к кому бы то ни было; говорю — физическое потому, что после чтения Протопопова, Жителя, Буренина и прочих судей человечества у меня всегда остается во рту вкус ржавчины, и день мой бывает испорчен. Мне просто больно. Стасов обозвал Жителя клопом; но за что, за что Ж. обругал Антокольского? Ведь это не критика, не мировоззрение, а ненависть; животная, ненасытная злоба! Зачем Скабичевский ругается? Зачем этот тон, точно судят они не о художниках и писателях, а об арестантах? Я не могу, не могу».

Сопоставьте с этими строками хотя бы вышеприведенные отзывы о Васнецове, об артистах, о Константине Леонтьеве, — и вы почувствуете всю искусственность и тона, и стиля этих отзывов, весь их не-чеховский строй.

И тут мы подходим к третьему существенному моменту, объясняющему слабость ранней чеховской публицистики, к моменту очень сложному, анализ которого требует всестороннего освещения и творчества Чехова, и его биографии, и его личности, и которого я коснусь здесь по необходимости лишь вкратце.

Детство, юность и ранняя молодость Чехова прошли в обстановке крайне неблагоприятной для его духовного роста. Его детство — это лавчонка захолустного городишка, это уродливая греческая школа и та атмосфера обрядовой религиозности, в которой, по словам Чехова, он чувствовал себя маленьким каторжником. Его юность — это толстовская школа под ферулой «человеков в футляре». В двух классах ее Чехов засиживался по два года, — это лучший показатель того, до чего мертва и тупа была эта школа. Его ранняя молодость — это чудовищное много-и скорописание в журналах и газетах самого ничтожного характера, среди литературной братии самого сомнительного свойства. Эту среду Чехов характеризовал в письме к брату Александру (от 19 мая 1883 г.): «Я, брат, столько потерпел и столь возненавидел, что желал бы, чтобы ты отрекся имени, которое носят уткины и кичевы²⁾. Газетчик, значит, по-

¹⁾ Речь идет о картине В. Васнецова в Историческом музее — «Охота на мамонта».

²⁾ Уткин и Кичев — типичные представители мелкой прессы 80-х годов.

меньшей мере жулик, в чем ты и сам не раз убеждался. Я в их компании, работаю с ними, рукопожимаю и, говорят, издали стал походить на жулика. Скорблю и надеюсь, что рано или поздно изолирую себя». Наконец, его общественное сознание и настроение складывалось в одну из тягчайших эпох русской истории, — в первую половину 80-х годов...

Я знаю, что в этой мрачной картине обстановки детства, юности и молодости Чехова были и свои светлые черты: напр. влияние матери, человека, повидимому, редкой душевной красоты, но господствующие краски были, несомненно, самые безотрадные.

И всем этим тягостным влияниям Чехов мог и должен был противопоставить только себя, только свои собственные духовные силы. Если бы духовный облик Чехова был даже идеально-гармоничен, то и в этом случае борьба его духовных сил с отрицательными моментами внешнего мира была бы и напряженной и драматичной. На самом же деле природа Чехова в себе самой заключала глубоко-трагический диссонанс между силою его обширного, беспримерно ясного ума и между рано осознанным молчанием его сердца.

И потому вся сознательная жизнь Чехова — одна из самых поучительных и захватывающих, какие мы знаем — представляет из себя подлинно трагическую борьбу сознания и самосознания Чехова: внутри себя — со своей природой и вне себя — с тягостными влияниями воспитания и среды.

Ключ к анализу этой борьбы дал сам Чехов в своей знаменитой, сказал бы я, обмолвке, — кажется единственной на протяжении всей его жизни, — в письме к Суворину: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества — напишите, как этот молодой человек выдавливал из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая...»

Это было написано в 1889 г., шесть лет после того, как Чехов стал писать для «Осколков» свои публицистические фельетоны. А в то время, как он их писал, этот мучительный процесс выдавливания из себя по капле раба еще не был закончен. Сам Чехов включает и свои студенческие годы в эту полосу «выдавливания раба». И вот, на публицистике его это еще сказывается — в этом пренебрежительном тоне при обращении с именами, в этой режущей ухо не-чеховской грубости, в этой смелости и резкости суждений о недостаточно знакомых вещах, в этой наигранности и разухабистости стиля.

Для характеристики духовно-растущего человека публицистика Чехова необычайно характерна: стиль писателя более инертен, нежели

его взгляды. В своих публицистических темах Чехов уже почти выбился из цепкой среды будильников, осколков, Кичеевых и Уткиных, в них он уже гневный, оскорбленный уродствами быта человек, с презрением смотрящий на то ее мелочное обличие, в котором барахтались все эти будильники и осколки. Перед самым началом своего публицистического поприща он пишет к брату Александру: «лучше с триппером возиться, чем брать деньги за подлое, за глумление над пьяным купцом, когда» и т. д. Но в стиле своей публицистики он еще не вырвался из-под власти Лейкиных, Кичеевых и Уткиных.

Ранняя публицистика Чехова дает много материала и в других направлениях изучения его творчества, между прочим для целого ряда сравнений обработки одной и той же темы в его публицистике и в художественных очерках. Публицистика же сыграла огромную роль в искусстве Чехова наблюдать жизнь. За недостатком места приходится это, однако, оставить. Моя главная цель состояла в том, чтобы осветить одно темное доселе место в поразительной картине духовного роста и творчества Чехова.
